
РАКУРСЫ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ

Д.В. ЕФРЕМЕНКО*

ОБЖИВАЯ РУИНЫ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ: К ВОПРОСУ О РОССИЙСКОМ НЕОПАТРИМОНИАЛИЗМЕ¹

Аннотация. Рассматриваются проблемы социально-политических трансформаций в России в конце 1980-х – начале 2000-х годов. Анализируются исторические развилки, прохождение которых обусловило катастрофу советского государства и становление неопатримониализма в постсоветской России. Режимная трансформация на рубеже 1990–2000 гг. интерпретируется как преодоление критической фазы постсоветского развития и наступление исторически длительного этапа, характеризующегося достижением относительного баланса между иерархией и сетями, формальными и неформальными институтами, агентностью и структурой.

Ключевые слова: распад СССР; неопатримониализм; критические моменты; формальные и неформальные институты; структура; агентность; политическая онтология.

* **Ефременко Дмитрий Валерьевич**, доктор политических наук, заместитель директора Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук, e-mail: efdv2015@mail.ru

Efremenko Dmitry, Institute of Scientific Information on Social Sciences of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), e-mail: efdv2015@mail.ru

¹ Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Исследование взаимоотношений власти и общества в России в ракурсе политической онтологии», осуществляемого при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 15-03-00008 а).

D.V. Efremenko
Rendering the ruins of the Soviet system habitable:
Concerning the Russian neopatrimonialism

Abstract. The article considers issues of social and political transformations in our country in the late 1980 s – early 2000 s. It analyzes the historical forks in the road that determined the catastrophe of the Soviet state and the establishment of neopatrimonialism in post-Soviet Russia. Political transformation of 1990–2000 is interpreted as a negotiation of the critical phase of post-Soviet development and the onset of a historically long stage characterized by a relative balance between hierarchy and networks, formal and informal institutions, agency and structure.

Keywords: collapse of the Soviet Union; neopatrimonialism; critical junctures; formal and informal institutions; structure; agency; political ontology.

Феномен устойчивого воспроизводства базовых принципов взаимодействия общества и власти, в котором последней принадлежит доминирующая роль, – поистине сфинксова загадка, разгадать которую не удалось до конца еще ни одному исследователю исторических путей России. По сути дела, это онтологическая проблема как в смысле историософских попыток объяснить бытие конкретных социума и политики, так и в более строгом контексте политической онтологии. Онтологическая перспектива в политической науке открывает средний путь между поиском законов, действующих в политической сфере, и постмодернистским скептицизмом в отношении существования политических закономерностей. По сути, политическая онтология восходит к идеям Карла Маркса, Макса Вебера и Георга Зиммеля, которые рассматривали и действия индивидов, и сложные социальные структуры как проявления регулярности в социальных отношениях. При этом социальные взаимодействия и связи, пронизывающие систему отношений власти и общества, обеспечивающие ее воспроизводство и изменения, формируют ткань социальной и политической жизни. Онтология политики генерализирует имеющиеся данные о социальных взаимодействиях (в том числе о проявлениях регулярности) и дает наиболее обобщенную картину политической жизни.

Разумеется, существует ряд трудностей, связанных с подвижностью и нечеткостью границы между онтологической рефлексией и прикладными политическими исследованиями. Вместе с тем в рамках «чистой эмпирии», предполагающей дистанцирова-

ние от онтологической рефлексии, просто невозможно предложить удовлетворительное решение таких проблем, как взаимосвязь между структурой и агентностью, историко-культурные детерминанты политических трансформаций и зависимость от траектории предшествующего развития, влияние идей и дискурсов на политические процессы, выявление органических качеств социальных систем (их несводимость к сумме частей), соотношение материального, виртуального и символического, статус концептуальных абстракций (общество, государство) и т.д. [Kauppi, 2010, 22; Stanley, 2012, 98]. Онтологическая рефлексия открывает новые возможности выявления причинной связи между трансформацией политического режима и отстоящими от нее по времени событиями, а также совокупностью социокультурных условий.

В настоящей статье предпринимается попытка рассмотреть проблемы социально-политических трансформаций в нашей стране в конце 1980-х – начале 2000-х годов, фокусируя особое внимание на критических моментах, точках бифуркации, в которых происходит формирование структур и институтов, определяющих последующие политические изменения. Выявление такого рода исторических развилок позволяет рассматривать и альтернативные траектории социально-политического развития, движение по которым в силу тех или иных причин оказалось заблокированным. Особое внимание предполагается уделить тем развилкам, прохождение которых обусловило катастрофу советского государства и последующее становление неопатримониализма в постсоветской России. В то же время анализ политических развилок осуществляется в проблемном поле политической онтологии. В этой оптике режимная трансформация на рубеже 1990–2000-х годов видится как завершение критической фазы постсоветского развития и наступление длительного этапа стабилизации, означающей достижение относительного баланса между иерархией и сетями, формальными и неформальными институтами, агентностью и структурой.

Крах советской системы. Запрограммированный, но не неизбежный

Известное путинское высказывание о том, что распад Советского Союза стал «величайшей геополитической катастрофой

XX века», на Западе часто интерпретируется как прямое указание на реваншистские устремления российского лидера и его ревизионизм по отношению к существующему мировому порядку. На деле такие интерпретации лишь дезориентируют тех, кто пытается разобраться в приоритетах российской внутренней и внешней политики. Определение «величайшая», разумеется, было оценочным, адресованным миллионам жителей постсоветских государств, у которых аббревиатура «СССР» вызывает ностальгию. Термин «катастрофа» – дескриптивный. Попытка проанализировать крушение советского государства и коммунистического режима именно в качестве системной катастрофы может дать заслуживающие внимания результаты.

Советский Союз можно рассматривать как сложную систему, включавшую идеологические, символические, организационные, материально-технические компоненты. Как показал Чарльз Перроу, в сложных технических или организационных системах катастрофические сбои, ведущие к разрушению системы, неизбежны и одновременно непредсказуемы [Perrow, 1984]. Дисфункции или сбои на уровне дискретных элементов системы, по отдельности не представляющие для нее серьезной опасности, в какой-то момент вступают друг с другом в резонансное взаимодействие, способное дестабилизировать систему в целом. И в этот момент решающим может стать фактор оператора, который, даже не совершая грубых ошибок (в рамках логики штатного функционирования системы) или успешно справляясь с уже известными техническими проблемами, оказывается неспособным адекватно реагировать на такого рода системные сбои. Иначе говоря, возможность катастрофического саморазрушения изначально атрибутирована любой сложной системе, из чего, однако, не следует, что эта возможность обязательно реализуется за предусмотренный проектом срок ее функционирования. Вместе с тем прогнозировать катастрофический системный сбой на основе традиционных методов оценки риска не представляется возможным.

Если буквально проецировать логику Ч. Перроу на советскую коммунистическую систему, то можно сказать, что возможность саморазрушения была заложена в ней точно так же, как и в любой другой сложной системе. Из этого ни в коем случае не следовало, что крах системы должен был произойти именно на рубеже 1980–1990-х годов. Вне всякого сомнения, в начале 1980-х го-

дов советская система переживала стагнацию, но это состояние в принципе могло продолжаться неопределенно долго. Еще в процессе формирования в эту систему были заложены некоторые внутренние изъяны, которые казались незначительными, но в определенных исторических обстоятельствах они могли запустить процессы, ведущие к разрушению системы. Такие исторические обстоятельства начали складываться к 1985 г., когда СССР возглавил Михаил Горбачев. Начиная с 1985 г. Советский Союз на протяжении короткого отрезка времени преодолел несколько исторических развилок, причем преодолел их таким образом, что наступление разрушительного системного сбоя стало необратимым.

Для периода перестройки ключевой можно считать развилку на рубеже 1986–1987 гг. К этому моменту стало очевидно, что прежняя стратегия преобразований глубоко забуксовала. Первоначальный импульс был практически исчерпан, а массовые ожидания неопределенных положительных изменений вот-вот могли трансформироваться в глубокое разочарование новым лидером и его риторикой. Понимая необходимость коррекции курса, Горбачев и его ближайшее окружение явно недооценили серьезность экономического положения. По сути дела, в начале 1987 г. была упущена последняя возможность перевести реформы на китайский путь. Конечно, различия в социальной структуре, уровнях индустриального развития и урбанизации, квалификации и стоимости рабочей силы не позволяли в СССР детально копировать реформы Дэн Сяопина. Однако их общий принцип – переход к рыночной экономике при сохранении жесткого политического контроля со стороны правящей коммунистической партии – вполне мог быть реализован в конкретных исторических обстоятельствах начала 1987 г.

Как известно, Михаил Горбачев и его соратники сделали выбор в пользу первоочередности политических преобразований. Горбачев фактически возложил ответственность за неудачи первого этапа перестройки на партийно-советскую номенклатуру. Перетряска кадров на всех уровнях номенклатурной иерархии и внедрение альтернативности при избрании кандидатов в партийные и советские органы стали рассматриваться не только как шаги в сторону политических изменений, но и как инструменты решения экономических задач. При этом, стремясь рекрутировать в правящую корпорацию новых людей и повысить ее внутреннюю кадро-

вую мобильность, Горбачев фактически вел дело к дестабилизации опорного каркаса системы в целом. Вследствие принятых решений снизилась сплоченность номенклатуры, она дифференцировалась, оформились внутрипартийные течения.

Дальнейшая радикализация этих процессов стала возможной благодаря политике гласности. Сегодня, возвращаясь к событиям той эпохи, нельзя не признать, что достигнутая благодаря горбачевской гласности свобода интеллектуального поиска и самовыражения стала величайшим завоеванием, которое сохраняется и по сей день. Однако для прежней советской системы именно гласность сделала катастрофическую динамику необратимой. В этом смысле можно согласиться с тезисом Михаила Геллера о том, что эпоха Горбачева была «победой гласности и поражением перестройки» [Геллер, 1997].

Сделав выбор в пользу первоочередности политических преобразований, Горбачев не просто отодвинул на второй план экономическую реформу. Начиная с 1987 г. каждый новый шаг в сторону рыночной экономики оказывался осложнен необходимостью «вписываться» в быстро меняющийся политический контекст, а ожидаемый политический эффект от намечаемых экономических мероприятий поначалу побуждал Горбачева и его окружение выбирать из возможных решений те, которые казались наименее рискованными. В результате экономические мероприятия представляли собой набор паллиативных мер, осуществляемых избирательно и вне четкой последовательности. В таком виде эти меры приводили к дальнейшему усилению экономических и социальных диспропорций, к углублению общего кризиса системы. Замена директивного планирования на индикативное, расширение экономической самостоятельности союзных республик, перевод предприятий на хозрасчет и самофинансирование, выборность их директоров, снятие ограничений на рост заработной платы представляли собой набор действий, подрывающих основы функционирования командно-административной экономики, но не приводящих к запуску новой хозяйственной модели и – тем более – к достижению макроэкономической стабильности.

1987–1988 гг. можно считать решающими для судьбы СССР в том смысле, что в этот период были одновременно активированы несколько мощных механизмов ее разрушения: ликвидация идеологической монополии и цензуры; ослабление внутреннего един-

ства КПСС и появление возможностей прихода в структуры власти людей, позиционирующих себя в качестве оппонентов режима; эрозия плановой экономики; подъем сепаратизма в ряде союзных республик и использование его активистами легальных способов борьбы за национальное самоопределение и независимость. Происходило взаимное усиление этих разрушительных процессов; нагрузки на систему возрастали с каждым месяцем. В то же время количество людей, социальных слоев и элитарных групп, продолжающих связывать свою судьбу со старым режимом, начало быстро сокращаться. И, напротив, множились ряды тех, кто в силу различных мотиваций – нравственных, идеологических, карьерных, националистических или материальных, – был заинтересован в крахе системы. Абсолютное же большинство составляли люди дезориентированные, смутно осознающие угрозу гибели коммунистического государства и связанного с ним привычного образа жизни, но уже не способные встать на их защиту.

В данной статье не затрагиваются другие исторические развилки, предшествовавшие крушению СССР [подробнее см.: Ефременко, 2015]. Однако хотелось бы подчеркнуть, что социальная и политическая динамика эпохи перестройки в целом соответствует логике наступления ситуации, критической для состояния системы. Реконструкция таких критических моментов (*critical junctures*) осуществлена в классическом исследовании Р. и Д. Кольеров, анализировавших соответствующие ситуации в истории восьми латиноамериканских стран, когда на местную политическую арену выдвинулось рабочее движение [Collier R.B., Collier D., 1991]. Согласно Кольерам, для развития «критического момента» должны сложиться определенные условия, затем возникает кризис, после которого остается некое наследие (в том числе институциональное), оказывающее влияние на протяжении достаточно длительного времени. С наступлением критических моментов обычно связано существенное расширение диапазона возможностей для действий индивидуальных или коллективных акторов, тогда как роль структур при этом существенно ослабевает. Так произошло и в эпоху перестройки: ослабление жесткой иерархической структуры (партийно-советской вертикали) создало условия для выхода на политическую арену новых акторов. Но этой констатации, разумеется, недостаточно.

Партийно-советская иерархия представляла собой каркас режима, но система в целом к ней не сводилась. Советская система была пронизана множеством неформальных сетевых взаимодействий, обеспечивавших циркуляцию и перераспределение ресурсов. Эти взаимодействия в конечном счете трансформировали сущность системы, адаптировали официальные идеологические установки и репрессивные практики к жизненным реалиям позднего советизма [Ledeneva, 1998; Афанасьев, 2000; Клямкин, Тимофеев, 2000]. Расхождение между официальной, идеологически санкционированной иерархией власти и формированием структур сетевых взаимодействий находило проявление в самых различных сферах – от «двойной морали» до «теневого» экономической активности. В условиях приближающегося обвала партийно-советской иерархии некоторые из этих сетей только усиливались, примером чему может служить бурное развитие кооперативов при одновременной деградации госсектора.

Принятый в 1988 г. Закон «О кооперации» нередко относят к числу наиболее решительных шагов периода перестройки в сторону рыночной экономики. Однако рамочные условия для развития этой формы предпринимательства определялись не только и даже не столько данным законом, сколько ранее принятым решением о прогрессивном налогообложении кооперативов. Статистические данные о росте кооперативного движения в последние годы перестройки, безусловно, впечатляют: на 1 января 1988 г. в СССР действовало 13,9 тыс. кооперативов, а на 1 января 1990 г. – 193 тыс.; объем продукции в годовом исчислении в ценах тех лет вырос с 350 млн до 40,4 млрд руб.; в объеме ВВП доля кооперативов в 1988 г. составляла менее 1%, а в 1989 г. – уже 4,4% [Трудный поворот к рынку, 1990, с. 184]. Но необходимо учитывать, что 80% кооперативов были созданы при государственных предприятиях и фактически служили легальным каналом вывода ресурсов этих предприятий.

Экспансия кооперативов как никакая другая экономическая мера горбачевского руководства способствовала разложению плановой модели экономики. В этом смысле данные о росте объема продукции кооперативов коррелируют с показателями спада производства в госсекторе, разумеется, с поправкой на схемы «оптимизации» налоговой нагрузки за счет сокрытия прибыли кооперативов. Уход от налогов, доступ к дефицитным фондам снабжения,

реализация через кооперативы сбыта продукции госпредприятий становились возможными благодаря формированию коррупционного симбиоза между кооператорами, менеджментом госпредприятий, местной партийно-государственной номенклатурой, чиновниками отраслевых министерств, представителями правоохранительных органов и криминальными структурами. По сути, в нерыночной системе появилось множество квазирыночных акторов, которые начали использовать ее прорехи и законодательные лакуны для получения максимальной прибыли. Сети этих акторов процветали на разложении старой, иерархически организованной командно-административной системы, но для становления новой, рыночной системы давали минимум – в лучшем случае стартовый капитал, специфический опыт и связи, необходимые для достижения прибыли в условиях распада советского государственного сектора и получения доступа к его самым лакомым кускам.

Вопрос об институциональном наследии «критического периода», увенчавшего политические и экономические преобразования Михаила Горбачева, представляется чрезвычайно важным и интересным. К числу формальных институтов, которые унаследовала от позднего СССР постсоветская Россия, относятся возрожденная многопартийность и альтернативные выборы. Но ничуть не меньшее значение имели институты неформальные, питательной средой для которых стали сетевые взаимодействия. Дуглас Норт указывает на возможность благоприятного сочетания формальных и неформальных институтов, обеспечивающего оптимальные условия для эволюционных изменений [Норт, 1997, с. 117]. К сожалению, конец перестройки как *critical juncture* далеко не способствовал складыванию такой идеальной констелляции формальных и неформальных институтов. Непоследовательность и общее запаздывание институционального строительства привели к тому, что после падения коммунистического режима и распада СССР неформальные институты выступили преимущественно в роли механизмов, корректирующих действие институтов формальных.

На обломках советизма

Катастрофа советской системы не завершилась ни в Бело-вежской Пуще, ни морозным вечером 25 декабря 1991 г., когда с

кремлевского флагштока был спущен красный флаг. Гайдаровские реформы также нельзя рассматривать как преобразования, начатые с чистого листа. В них, помимо явных и скрытых намерений реформаторов, необходимо видеть и динамику финальных этапов схлопывания советизма, и даже попытку институционализации субпродуктов системного распада [см.: Kotkin, 2008, p. 113–169]. В то же время интерпретация постсоветской социально-политической динамики в диапазоне «революция – контрреволюция» представляется довольно проблематичной. Например, в трактовке В.Б. Пастухова акцентируется контраст между ельцинской и путинской эпохами:

«То, что мы называем “лихими 90-ми”, было временем революционной ломки всех сложившихся отношений и стереотипов, насильственного перераспределения имущества и власти. В конце концов, из хаоса стал проступать “новый порядок”, который во многом, к несчастью, напоминал порядок старый, поскольку никаких видимых культурных подвижек в обществе за это время не произошло. В 2003–2004 гг. Россию накрыла первая контрреволюционная волна, которая попыталась ввести “революционное наследие” 1990-х в определенные рамки. Она носила преимущественно антиолигархический характер, частью уничтожив, частью поставив под контроль государства элиту, рожденную горбачевско-ельцинской революцией. Возникшее из этой контрреволюции государство осталось, тем не менее, насильственным по своей природе и целям» [Пастухов, 2011, с. 18].

По убеждению автора, для России и большинства постсоветских стран исторический смысл эпохи 1990-х годов по преимуществу заключался не в строительстве новой государственности, рыночно-демократическом транзите, становлении гражданского общества, а в исчерпании динамики распада и «обживании» руин советской системы. Богато насыщенный событиями, первый этап постсоветской истории оказался довольно беден в смысле оригинального внутреннего содержания. Стратегический замысел преобразований 1990-х годов, который сами реформаторы характеризовали как «обмен власти на собственность» и «выкуп России у номенклатуры» [Гайдар, 1995, с. 103], трудно считать чем-то принципиально новым по сравнению с объективной направленностью экономической политики горбачевского руководства периода 1988–1991 гг. На деле состоялся не обмен, а модификация в рыночных условиях дуалистического единства «власти / собственно-

сти» и производного от него социального порядка. Даже изменения в составе элиты дают основания говорить, скорее, о континууме или эволюционной трансформации, но никак не о революционной смене правящего слоя.

У либеральных реформаторов, безусловно, было намерение радикально преобразовать само общество, но сделать это они стремились при помощи «невидимой руки рынка». Для этого государству требовалось «уйти» из сферы экономики, а также по возможности сократить свою «сферу ответственности» за социальное обеспечение. В результате российское общество оставалось без традиционной опеки со стороны государства на протяжении большей части 1990-х годов. Задача целенаправленного институционального строительства так и не была переведена в практическую плоскость; предполагалось, что новая институциональная среда сформируется вследствие мер по разгосударствлению экономики. В то же время, несмотря на внешне инновационные формы «ухода» государства из экономики (ваучеризация, чуть позднее – залоговые аукционы), фактически этот процесс осуществлялся с использованием традиционной машинерии, обеспечивающей перераспределение командных позиций внутри системы *«власть-собственность»*.

Два с небольшим года, разделяющие «Преображенскую революцию» 19–21 августа 1991 г. и принятие Конституции новой России 12 декабря 1993 г., вне всякого сомнения, стали временем решающей трансформации политического порядка и определения вектора его последующего развития. В этот же период российское общество испытало сильный травматический шок, сопровождавшийся утратой жизненных ориентиров для десятков миллионов людей. Причем борьба за власть – между Борисом Ельциным и Михаилом Горбачевым в последние месяцы номинального существования Советского Союза, затем – между Ельциным и Верховным Советом – способствовала тому, что социальная травма оказалась еще более болезненной. В этой борьбе определяющими были решения и действия основных политических акторов, тогда как структурные ограничения были недостаточными, чтобы предотвратить насильственную развязку 3–4 октября 1993 г.

Силовое разрешение политического кризиса осени 1993 г. означало закрытие «окна возможностей» для учреждения нового конституционного порядка на основе политического компромисса.

Варианты Конституции, которые могли быть согласованы в ходе диалога между сторонами конфликта, предусматривали большую или меньшую степень равновесия между исполнительной, судебной и законодательной властями. Сам согласительный процесс наподобие польского круглого стола 1989 г. или переговоров испанских политических сил, завершившихся подписанием пакта Монклоа (1977), скорее всего, стал бы преградой для принятия политико-правовой модели, ставящей институт президентства над системой разделения властей. Но шанс на достижение политического компромисса оказался упущен. Конституция Российской Федерации, одобренная на референдуме 12 декабря 1993 г., фактически кодифицировала тот политический порядок, который установился после силового разгона Верховного Совета.

Принятие Конституции должно было способствовать упрочению формальных институтов. Однако институционально-структурной стабильности немедленно достичь не удалось. На деле происходило нечто другое. Как в период острого политического противостояния первых постсоветских лет, так и в последующие годы политические акторы все чаще обнаруживали, что использование неформальных институтов зачастую оказывается более эффективным с точки зрения минимизации транзакционных издержек [Гельман, 2003], достижения краткосрочных и среднесрочных целей. А среда, обеспечивавшая максимальную эффективность неформальных институтов, сформировалась уже к концу перестройки – прежде всего, это были симбиотические сетевые структуры, объединявшие и представителей партийно-комсомольской номенклатуры, и бывших теневиков, и наиболее удачливых кооператоров. Правительство реформаторов, впрочем, оказывало активное воздействие на дальнейшее структурирование этой среды, используя такие инструменты, как льготное кредитование, субсидирование экспорта, дотирование импорта, чековая приватизация, в дальнейшем – залоговые аукционы. В этом смысле реформы можно рассматривать как социальную инженерию. В результате в первой половине 1990-х годов на арену общественной жизни вышла новая социальная группа предпринимателей, почти не имевших опыта организации производства и создания бизнеса в условиях открытой рыночной конкуренции. Их магистральный путь был иным: они сумели добиться успеха не вопреки, а благодаря распаду советской хозяйственной системы, причем их основ-

ной способ ведения бизнеса состоял в умении «решать вопросы» на разных уровнях – от локальных криминальных структур до федерального правительства. Но именно благодаря такого рода сетевым взаимодействиям можно было обеспечить воспроизводство в качественно новых условиях связки «власть / собственность», освободив ее от политико-идеологических ограничений советской эпохи.

В 1990-е годы Россия совершила рывок к капитализму, но совершила его так, как могла, воспроизведя в качественно изменившихся условиях привычную для нее связку власти и собственности. Иначе говоря, в России возникла специфическая версия неопатримониального капитализма. Еще Макс Вебер характеризовал отношения власти и собственности в России XVI–XIX вв. как особую вариацию патримониализма – царский патримониализм [Weber, 1976, p. 621–623]. Во второй половине XX в. Ричард Пайпс внес значительный вклад в разработку представлений о патримониализме в России, рассматривая отсутствие либо нечеткость разграничительной линии между собственностью и политическим суверенитетом как фактор, определяющий особенности русской истории в дореволюционный период [Пайпс, 1993]. Шмуэль Эйзенштадт, адаптируя концепцию Вебера к проблематике модернизации, использовал термин *неопатримониализм* [Eisenstadt, 1973]. Неопатримониализм можно рассматривать как комбинацию двух типов политического господства – рационально-бюрократического и патримониального. Функционирование власти в условиях неопатримониализма лишь внешне подчиняется формально-правовым нормам, тогда как реальная практика является неформальной и обусловленной личностными отношениями, или, иначе говоря, строится «по понятиям». При этом неопатримониализму соответствуют авторитарная организация социально-политических отношений и рентоориентированная модель экономического поведения [см.: Erdmann, Engel, 2006]. Украинский исследователь А.А. Фисун определяет постсоветский неопатримониализм «в качестве особой системной формы производства и присвоения политической ренты на основе монополизации властно-административных (силовых и фискальных) ресурсов государства различными группами политических предпринимателей и / или бюрократии» [Фисун, 2010, с. 169].

Воспроизводство в России в новом облике патримониальной модели дает богатый материал для дальнейших дискуссий об

исторической колее [см.: Аузан, 2007]. Выглядит все так, будто в начале 1990-х Россия едва не выкарабкалась из глубокой колеи зависимости от прошлого, а к концу того же десятилетия – с радостью в нее вернулась. Объяснить такую траекторию развития только действием культурных кодов и силой традиции довольно сложно. История России XX в. – это история жесточайшей насильственной ломки традиционной культуры. Однако ломка традиции не равнозначна ее уничтожению. Современная Россия – это не страна без традиций, а, скорее, страна с обрывками традиций. Во всяком случае нет оснований утверждать, что такие формальные институты, как альтернативные выборы представителей государственной власти или независимый суд противоречат сохранившимся традиционным ценностям среднестатистического россиянина.

Институциональная констелляция на момент катастрофы советской системы характеризовалась дискретностью и неустойчивостью формальных институтов. Одновременно усилилось значение неформальных институтов, обращение к которым позволяло ограничить неопределенность для индивидов и социальных групп. Именно неформальные институты способствовали дальнейшему воспроизводству ряда культурно обусловленных моделей поведения и реакций. Но воспроизводилось далеко не все, а только то, что способствовало посткатастрофной адаптации, более-менее успешному обживанию обломков рухнувшей системы. Не культурные факторы как таковые, но атомизация общества, резкий рост уровня взаимного недоверия и страха, осознание ненадежности и непредсказуемости повседневной жизни в наибольшей степени препятствовали успешному развитию формальных институтов [см.: Гудков, 2004].

В то же время и основные агенты политических трансформаций все более охотно делали ставку на неформальные институты вплоть до фактической передачи на «аутсорсинг» экономическим группам интересов ряда функций государственного управления. Такой порядок дел компенсировал слабость государства и одновременно создавал дополнительные страховочные механизмы для тех акторов, которые испытывали неуверенность в своем политическом долголетии при опоре лишь на формальные институты. Апогеем здесь можно считать президентские выборы

1996 г., период «семибанкирщины» и проведение залоговых аукционов.

Реинкарнация патримониализма происходила как вследствие стремления ключевых политических игроков найти оптимальный в условиях того времени способ достижения своих целей, так и благодаря реализации на уровне массовых социальных групп стратегий ухода от неопределенности и минимизации рисков. На этом пути на протяжении 1990-х годов были пройдены важные развилки. Уже во второй половине 1990-х годов обозначилась перспектива мутации формулы «власть – собственность» и ее замены на формулу «собственность – власть – собственность».

В России середины 1990-х годов власть сформировала новый слой крупных собственников, который, пользуясь слабостью государства, заявил претензии на установление контроля над породившей его властью. Следствием подмены формальных институтов неформальными могла стать приватизация политической власти экономическими группами интересов, после дефолта 1998 г. сосредоточившими под своим контролем около 1/3 российского ВВП [см.: Rutland, 2008]. Однако сама суть политического кризиса, начавшегося 17 августа 1998 г. с объявления технического дефолта и завершившегося с передачей президентской власти от Бориса Ельцина Владимиру Путину 31 декабря 1999 г., состояла в том, чтобы воссоздать более приемлемую для большинства политико-экономических акторов и массовых групп населения неопатримониальную модель, в которой определяющая роль принадлежит государственной власти.

Даже для значительной части влиятельных групп экономических интересов, каждая из которых представляла собой мощную сетевую структуру, потребность в функции арбитража со стороны государства была очевидной. Но еще более важно, что государство как верховный арбитр должно было обеспечить сохранение новой структуры крупной собственности, не обладавшей достаточной легитимностью в глазах основной части российского населения. Для большинства граждан России приватизация стала неотъемлемой частью индивидуального и коллективного травматического опыта, символом вопиющей социальной несправедливости и чудовищной коррупции. Неудивительно, что около 1/3 респондентов даже в начале 2000-х годов высказывались в пользу ренационализации крупных компаний, а за «устойчивым и широко распростра-

ненным отрицательным отношением к последствиям приватизации обнаруживалось раздраженное и мстительное ожидание “социального реванша”, парадоксальным образом сочетающееся с практически полным отсутствием надежд на восстановление “социальной справедливости”» [Зоркая, 2005, с. 94].

Последефолтный кризис разворачивался преимущественно как противоборство ключевых политических игроков на федеральном и региональном уровнях на фоне сравнительно низкой протестной активности. Однако недооценка настроений и ожиданий массовых групп, редукция их роли к одному из типов ресурсов, который может быть мобилизован той или иной группой элиты [Гельман, 2007, с. 82], в конечном счете приводит к искажению сути политических трансформаций на рубеже XX–XXI вв. Запрос на «возвращение государства» был массовым, причем во многом он был связан с тем, что дальнейшая экспансия неформальных институтов и отношений из механизма редукции неопределенности могла трансформироваться в источник генерации новых социальных рисков. И, напротив, сверхвостребованной оказалась способность стоящего во главе иерархии власти политического лидера управлять неопределенностью и рисками, даже если это управление осуществляется на основе комбинированного использования формальных и неформальных институтов. В этом смысле стремление к «возврату государства» означало, что в одной точке начинают сходиться массовые ожидания, интересы значительной части политических акторов и опасения мощных групп влияния. По сути дела, это был запрос на системную стабилизацию, на установление в целом понятных и приемлемых «правил игры», причем в компромиссном варианте, исключающем как передел собственности, так и «приватизацию» государства отдельными сетевыми структурами.

Социальные факторы укрепления неопатримониализма

Эпоха неолиберальных реформ, если считать ее закончившейся, а хронологическим рубежом завершения – начало президентства Владимира Путина, была ознаменована ярко выраженным социальным расслоением, почти троекратным снижением реальной среднемесячной заработной платы, появлением массового слоя «новых бедных» [Радаев, 2000], т.е. работающих людей, на-

ходящихся у черты бедности. «Возврат государства» состоялся в стране, где сформировалась культура бедности и апатии, в стране с атомизированным обществом, где стратегии индивидуального и группового выживания почти полностью вытеснили стратегии гражданской солидарности. Массовый запрос на возвращение к государственному патернализму – не что иное, как обратная сторона недостатка солидарных связей и отношений. К тому же солидарность солидарности – рознь.

Солидарность в различных ее проявлениях, несомненно, демонстрирует высокую степень зависимости от экономических, институциональных и культурных факторов того или иного общества. Будучи феноменом эпохи модерна, солидарность оказывается соотносенной с социальной дифференциацией и возможностью индивидуального выбора или, иначе говоря, с необходимостью переформулировать взаимные обязательства между общественным целым и отдельным индивидом. Причем сегодня совершенно очевидно, что подобное переопределение взаимных обязательств – не единовременный акт, а процесс, длящийся во времени с различной степенью интенсивности, но никогда не прекращающийся. Этот процесс нельзя также считать однонаправленным: если на микроуровне общественной организации в условиях растущего многообразия культурных форм, ценностей и стилей жизни нарастает разобщение, то тем сильнее на макроуровне становится объективная потребность в адекватных и действенных механизмах социальной интеграции. Но что поистине озадачивает исследователей посткоммунистических трансформаций – это отсутствие достаточного уровня социального сплочения в России как на рубеже XX–XXI вв., так и в наши дни. Вот что пишет о дефиците гражданской солидарности в нашей стране социолог Александр Гофман:

«Наблюдается тенденция к преобладанию различных форм партикулярных, “эксклюзивных” (исключающих другие), нередко враждующих между собой солидарностей, групповых эгоизмов, и недостаток инклюзивной, универсальной солидарности даже в масштабах страны, не говоря уже о более широких социокультурных, социально-экономических и социально-политических образованиях. Все партикулярные солидарности: политические (включая государственно-бюрократическую), семейно-родственные, национально-этнические, религиозные, классовые, корпоративные, профессиональные и т.п., – имеют и могут иметь позитивное значение

только при их включенности в солидарность гражданскую. Без нее, какими бы мощными они ни казались, они несут с собой огромный потенциал дезинтеграции и разрушения» [Гофман, 2013, с. 314].

Разрушительный характер партикулярных солидарностей в условиях недостатка гражданской солидарности еще более усиливается тем, что многие их носители представляют группы, самим своим появлением обязанные распаду советской державы, а также экономической и социальной политике 1990-х годов. Беженцы, безработные, бездомные, криминальные формирования, участники вооруженных конфликтов – вот лишь некоторые из таких групп, являющихся в любом обществе носителями энергии социального распада, но представляющих особую опасность для атомизированного общества [см.: Яницкий, 2013, с. 293]. В атомизированном обществе разрастание подобных групп способствует повышению и без того высокого уровня социальной тревожности, т.е. усилению влияния социально-психологических факторов, блокирующих институциональные изменения. В сущности, получается замкнутый круг: слабость институтов ведет к росту аномии и осознанию неустойчивости своего положения индивидами и группами, что, в свою очередь, препятствует столь необходимым институциональным трансформациям.

Изживание глубокой социальной травмы в обществе, которое на закате реформ 1990-х годов оказалось еще менее сплоченным, чем в их начале, породило крайне консервативную стратегию адаптации. Американский исследователь Сэмюэл Грин описывает эту стратегию, используя термин «агрессивная неподвижность»:

«В среде, где отсутствуют социальные институты, мало (или даже вообще нет) проторенных и воспроизводимых путей к успеху. Поэтому относительный комфорт и благополучие, которых может достичь российский гражданин, являются результатом исключительного, уникального стечения обстоятельств, связанного только со способностью данного человека справиться с окружающей ее (или его) неопределенностью (порядок следования местоимений здесь не случаен; на круг женщины в России значительно лучше справляются с обстоятельствами, чем мужчины)... Российские граждане выступают против реформ, направленных на либерализацию и демократизацию, не потому, что им по душе монополизирующая политика и экономика, которая имеет место сегодня, но

потому, что любые масштабные изменения грозят им утратой уже имеющихся достижений, которые зиждутся на очень хрупких, неглубоких основаниях» [Грин, 2012, с. 448].

Преодолевающее травму российское общество и в условиях политической стабилизации и экономического роста следовало стратегиям, доказавшим свою эффективность в критических условиях 1990-х годов. Социальная инволюция, т.е. упрочение частного и узкогруппового пространства в ущерб общественному [Виганов, Кротов, Лыткина, 2000] и связанное с этим доминирование партикулярных солидарностей, в более благоприятных обстоятельствах означает, что индивиды и группы стремятся воспользоваться новыми возможностями для улучшения своего положения, зачастую за счет интересов других индивидов и групп, но без попыток каким-либо образом ограничить власть, способную снизить неопределенность и социальные риски до приемлемого уровня.

Политика Владимира Путина в первые два срока его президентства в значительной степени отвечала социальному запросу на посттравматическое лечение. Общество переработало «под себя» привнесенные институты и практики. То, что с либеральной точки зрения может рассматриваться как политический регресс, было, в сущности, воспроизведением тех форм политической власти, которые традиционно считались комфортными для российского общества.

Заключение

Режимная трансформация в России на рубеже XX–XXI вв. представляет собой рубеж, который следует рассматривать не просто как смену политического лидерства, но как преодоление критической фазы постсоветского развития и наступление исторически длительного этапа, характеризующегося достижением баланса между иерархией и сетями, формальными и неформальными институтами, агентностью и структурой при явном доминировании ключевого политического актора – российского президента (в 2008–2012 гг. – премьер-министра) В.В. Путина. Сформировавшаяся система объединяет с предшествующими формами политической организации такая характеристика, как властечентризм, что может служить подтверждением тезиса о русской историче-

ской колее. Вместе с тем новейший извод патримониализма на российской почве имеет ряд инструментальных характеристик, присущих и рационально-бюрократическому типу политического господства.

Неопатримониальная система в современной России достаточно функциональна и устойчива. Она вполне эффективно справилась и с внутренней турбулентностью в конце 2011 – начале 2012 г., и с внешними вызовами в 2014–2016 гг. Разумеется, любая стабильность относительна. Социальная реальность постоянно изменяется, одни структуры отмирают и образуются другие, а пространство действий акторов может и сужаться, и расширяться. Иначе говоря, агентность и структура взаимозависимы, но сама эта взаимозависимость динамическая [Archer, 1995]. Установление баланса между агентностью и структурой означает, что динамические изменения, характеризующие их взаимозависимость, не выходят за пределы некоторого диапазона, который с большей или меньшей долей условности можно рассматривать в качестве нормы. В период установления такой нормальности может серьезно меняться институциональный ландшафт, включающий как формальные, так и неформальные институты. Политический выбор, сделанный на этом этапе, может оказаться весьма устойчивым именно в силу его формирующего воздействия на институциональный ландшафт [Hall, Taylor, 1996]. Что же касается политических акторов, то в условиях стабилизации или нормализации их поведение, как правило, не выходит за пределы соответствующего паттерна или стандарта [Гельман, 2007, с. 82]. И, напротив, серьезные и повторяющиеся отклонения от поведенческого стандарта политических акторов могут быть первыми симптомами завершения эпохи стабильности.

Наконец, если подходить к теме возможных в будущем системных трансформаций, то коротко можно сказать следующее. В системе российского неопатримониализма конечно же существуют изъяны, которые при сверхвысоких нагрузках на систему или при катастрофических ошибках оператора могут запустить разрушительные процессы. Эти изъяны нужно выявлять и тщательно изучать. Однако травматический опыт российской истории XX в. однозначно показывает, что системная катастрофа является наихудшим исходом. Соответственно, необходимо анализировать механизмы, позволяющие осуществлять эволюционные изменения

институционального ландшафта без срыва в катастрофические сценарии. Менеджмент этих изменений требует взвешенной оценки рисков, концентрации политической воли (что само по себе уже означает определенное изменение устоявшегося баланса между структурой и агентностью), готовности воздействовать как на элиты, так и на массовые группы.

Список литературы

- Аузан А.А. «Колея» российской модернизации // *Общественные науки и современность*. – М., 2007. – № 6. – С. 54–60.
- Афанасьев М.Н. Клиентелизм и российская государственность. – М.: Московский общественный научный фонд, 2000. – 318 с.
- Гайдар Е.Т. Государство и эволюция. – М.: Евразия, 1995. – 205 с.
- Геллер М.Я. Горбачев. Победа гласности и поражение перестройки // *Советское общество. Возникновение, развитие, исторический финал: В 2 т. – Т. 2: Апогей и крах сталинизма / Под общ. ред. Ю.Н. Афанасьева*. – М.: Российск. гос. гуманитарный ун-т, 1997. – С. 546–576.
- Гельман В.Я. Институциональное строительство и неформальные институты в современной российской политике // *Полис. Политические исследования*. – М., 2003. – № 4. – С. 6–25.
- Гельман В.Я. Из огня да в полымя? Динамика постсоветских режимов в сравнительной перспективе // *Полис. Политические исследования*. – М., 2007. – № 2. – С. 81–108.
- Гофман А.Б. Солидарность или правила, Дюркгейм или Хайек? О двух формах социальной интеграции // *Социологический ежегодник, 2012: сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН*. – М., 2013. – С. 97–167.
- Грин С. Природа неподвижности российского общества // *Россия-2020: Сценарии развития / Под ред. М. Липман, Н. Петрова; Моск. Центр Карнеги*. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – С. 445–462.
- Гудков Л.Д. Негативная идентичность: Статьи 1997–2002 гг. – М.: Новое литературное обозрение, 2004. – 816 с.
- Ефременко Д.В. Посттравматическая Россия. Социально-политические трансформации в условиях неравновесной динамики международных отношений: Монография. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив: Университетская книга, 2015. – 217 с.
- Зоркая Н.А. Приватизация и частная собственность в общественном мнении в 1990–2000-е годы // *Отечественные записки*. – М., 2005. – № 1. – С. 118–136.
- Клямкин И.М., Тимофеев Л.М. Теневая Россия: Экономико-социологическое исследование. – М.: РГГУ, 2000. – 595 с.
- Норт Д.К. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 180 с.
- Пайпс Р. Россия при старом режиме. – М.: Независимая газета, 1993. – 424 с.

- Пастухов В.Б.* «Перестройка» – второе издание. Революция и контрреволюция в России // Полис. Политические исследования. – М., 2011. – № 1. – С. 7–28.
- Радаев В.В.* Работающие бедные: Велик ли запас прочности // Экономическая социология. – М., 2000. – Т. 1, № 1. – С. 28–37.
- Трудный поворот к рынку: Сб. статей / Под ред. Л.И. Абалкина. – М.: Экономика, 1990. – 214 с.
- Фисун А.А.* К переосмыслению постсоветской политики: Неопатримониальная интерпретация // Политическая концептология. – Ростов-на-Дону, 2010. – № 4. – С. 158–187.
- Яницкий О.Н.* Солидарность в условиях катастроф: Некоторые проблемы теории // Социологический ежегодник, 2012: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. – М., 2013. – С. 213–231.
- Archer M.* Realist social theory: The morphogenetic approach. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1995. – 368 p.
- Buravoy M., Krotov P., Lytkina T.* Involution and destitution in capitalist Russia // Ethnography. – L., 2000. – Vol. 1, N 1. – P. 43–65.
- Collier R.B., Collier D.* Shaping the political arena. Critical junctures, the labor movement and regime dynamics in Latin America. – Princeton: Princeton univ. press, 1991. – 904 p.
- Eisenstadt S.N.* Traditional patrimonialism and modern neopatrimonialism. – L.; Beverly Hills (CA): Sage publications, 1973. – 95 p.
- Erdmann G., Engel U.* Patrimonialism revisited: beyond a catch-all concept. – Hamburg: German institute of global and area studies working papers, 2006. – N 16, February. – Mode of access: http://repec.giga-hamburg.de/pdf/giga_06_wp16_erdmannengel.pdf (Accessed: 29.01.2017.)
- Hall P., Taylor R.* Political science and the three new institutionalisms // Political studies. – Oxford, 1996. – Vol. 44, N 4. – P. 936–957.
- Kauppi N.* 2010. The political ontology of European integration // Comparative European politics. – Hampshire, 2010. – Vol. 8, N 1. – P. 19–36.
- Kotkin S.* Armageddon averted: the Soviet collapse, 1970–2000. – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2008. – 280 p.
- Ledeneva A.* Russia's economy of favours. Blat, networking and informal exchanges. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1998. – 235 p.
- Perrow C.* Normal accidents. Living with high-risk technologies. – N.Y.: Basic books, 1984. – 464 p.
- Rutland P.* Putin's economic record. Is the oil boom sustainable? // Europe-Asia studies. – Abingdon, 2008. – Vol. 60, N 6. – P. 1051–1072.
- Stanley L.* Rethinking the definition and role of ontology in political science // Politics. – Basingstoke, 2012. – Vol. 32, N 2. – P. 93–99.
- Weber M.* Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie. – Tübingen: Mohr, 1972. – xxxiii, 942 S.